

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

СНИМОК С МЕСТА КОТОРОГО НЕТ

Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1883



Надежда Чародейская

Снимок с места, которого нет

<https://litres.ru/74432622>

SelfPub; 2026

Аннотация

Санкт-Петербург, лето 1883 года. В ателье фотографа Вересова входит старик с обожжённым солнцем лицом и приносит стеклянный негатив: на нём — деревня у реки, церковь, мельница. Только деревни такой нет ни на одной карте. Место, которого не существует.

Вересов проявляет пластину — и начинает искать несуществующее: поднимает старые межевые книги, расспрашивает картографов, уезжает из Петербурга. А когда единственный человек, узнавший излучину реки, погибает, Вересов понимает: место есть — и кто-то двадцать лет прячет его вместе с давним пожаром, поджогом и землёй, отнятой у целой деревни.

Ретро-детектив в духе Акунина и Чиж о фотографе, который умеет находить места, которых нет, — потому что их просто прячут.

Содержание

Пролог	4
Глава первая. В которой старик приносит негатив, а фотограф проявляет место, которого нет	11
Глава вторая. В которой Макар узнаёт, что места исчезают не сами, а городская карта врёт с достоинством	27
Глава третья. В которой отставной землемер узнаёт излучину — и замолкает навсегда	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Снимок с места, которого нет

Пролог

В ночь на Иванов день, в шестьдесят третьем году, деревня Заболотье сгорела так, что от неё не осталось даже тени на карте.

Загорелось, как всегда говорили после, «неведомо с чего»: будто кто-то опрокинул уголёк на сухую стружку, а ветер, на беду, дул с реки. Огонь пошёл по избам гулять, как пьяный по ярмарке, — с крыши на крышу, от плетня к плетню, и к полуночи над Сиверкой стояло такое зарево, что в соседнем селе бабы крестились и будили детей, а мужики, побросав косы, бежали к реке с вёдрами и не добежали: жар был такой, что вода в вёдрах закипала на полдороге.

Так и метались они меж двух берегов — кто к реке за водой, кто к избам за добром, кто за скотиной в хлев, — пока не поняли, что спасать уже нечего и не для кого: деревня горела разом, с двух концов, будто её подожгли не с одного краю, а со всех четырёх. А разом с двух концов изба не горит, даже в самую сушь. Разве что у неё двое хозяев — один настоящий, а другой пришлый, с паклей в рукаве.

За час до этого, когда деревня ещё спала и только петухи, чуя неладное, кричали не ко времени, тот же человек прошёл вдоль задворков, огибая тёмные избы, как обходит хозяин своё будущее добро. В руке у него был фонарь — потушенный, но тёплый, — а в другой — просмолённая пакля, и пахло от него не вином, не дегтярной работой, а тем особым, холодным потом, каким пахнет человек, решившийся на то, на что решаются один раз. У крайней избы он остановился, постоял, прислушался, и губы его беззвучно шевельнулись — не молитва, не брань, а что-то своё, давно и про себя расчитанное. Потом чиркнул спичкой, и маленький огонёк запрыгал у него в ладони, как живой.

Один человек не бежал. Он стоял на мельничной плотине, по ту сторону заводи, и смотрел, как горит деревня, в которой он прожил пришлым человеком два года и которую за это время успел всю, до последней вдовы, переписать в амбарную книгу. Звали его Парфёшка-приказчик, был он молод, скуласт, зорек и знал про каждую избу столько, сколько хозяин избы про себя не знал. Стоял он неподвижно, засунув руки в рукава, и лицо его, озарённое заревом, было спокойно, как лицо человека, который считает чужое добро, пока оно горит.

Позади него, в темноте, переступали с ноги на ногу выведенные из конюшни лошади. Их вывели загодя — ещё до того, как над крышами встал первый язык пламени, — и теперь они стояли смирно, привязанные к ольхе, и только прядали

ушами на треск. Парфёшка не оборачивался. Он знал, что лошади на месте: сам выводил.

Два года назад его прислали к мельнице из губернского города — молодого, грамотного, с письмом от самого хозяина, — и деревня тогда, помнится, ещё радовалась: новый приказчик, не чета прежнему старику, всё в книги пишет, со всяким ласков. А он и впрямь был ласков — первые полгода. Считал, что доброе слово дешевле ржи и скорее доходит. Потом перестал. Потому как дошёл до того, до чего доходит не всякий приказчик: земля любит не ласковых, а терпеливых. И вот он стоял теперь на плотине — терпеливый, как никогда, — и смотрел, как два года его хлопот догорают ровным, добротным огнём.

А в деревне, в той стороне, куда огонь ещё не добрался, в крайней избе старосты умирал от удушья не хозяин — хозяин как раз выносил икону, — а стеклянная пластина, завёрнутая в холстину. Её снимал заезжий светописец за три дня до того: снял всю деревню целиком, с церковью, с мельницей и с излучиной, «на память для волости». Пластин тех было две: светописец, человек обстоятельный, снимал каждую деревню в два стекла — «на случай». Одну он отдал старосте, на ту и дивилась вся деревня, а вторую оставил себе и увёз бы с собой поутру, кабы дожил до утра. Так и вышло, что одно стекло сгорело вместе с ним, в избе, где он ночевал, а другое — то, что уцелело, — осталось единственным на всём свете изображением деревни Заболотье. Последним и един-

ственным. Как часто бывает на свете: из двух одинаковых вещей суждено уцелеть одной, и ей, одной, пришлось потом отвечать за обе.

Староста, пробегая мимо полки, где она лежала, схватил её не глядя — как хватают не добро, а то, что грех оставить огню, — и сунул в руки пареньку, который подвернулся у ворот.

— Беги, Ефимка. И береги. Это теперь одна наша деревня и есть. Которой, может, и не будет.

Паренёк прижал холстину к груди, как прижимают младенца, и побежал в темноту, прочь от зарева, к реке, вниз по течению, куда не доставал ни огонь, ни свет, ни — как выяснилось потом — ни одна живая душа.

Бежал он до самого утра, пока не упал в ольшанике, в трёх верстах от родного дыма. Там, в кустах, обняв холстину, он и просидел, пока не рассвело, — и то зарево, что осталось за его спиной, всю жизнь потом будет возвращаться к нему во сне. А проснулся он уже другим человеком: не Ефимкой из Заболотья, а тем, кто носит за пазухой целую деревню.

А утром, когда дым ещё стоял над рекой, как тяжёлое одеяло, Парфёшка-приказчик первым пришёл на пожарище. Шёл он не спеша, по-хозяйски, обходя ещё дымившиеся головешки, и лицо его, посеревшее от бессонной ночи, было спокойно и деловито, как у человека, который пришёл принять то, что давно уже считал своим.

Над пожарищем, как ни в чём не бывало, пели птицы. Уце-

левшие синицы скакали по обгорелым жердям, и звон их разносился над мёртвой, дымящейся землёй с тем особенным, невозмутимым весельем, с каким природа всегда продолжает своё посреди человеческой беды. Парфёшка на миг остановился и прислушался, и, может быть, впервые за всё утро ему стало не по себе: птицам-то было всё равно. А ему — нет. И оттого, что ему было не всё равно, он злился — и злился на птиц, на дым, на эту землю, которая, сколько ни жги, всё равно останется землёй. Он сплюнул и пошёл дальше, считая то, что считают хозяева, — уцелевшее. Он постоял у того места, где была крайняя изба, пнул носком сапога обгорелый венец и, не оборачиваясь, бросил подоспевшим мужикам:

— Вот что, православные. Деревни вашей боле нету. И не будет. Кто хочет — оставайся, земли хватит. А кто не хочет — тем дорога, и нечего тут слёзы лить: слёзами пепел не смочишь. — Он обвёл всех взглядом, и взгляд этот был как у хозяина, принимающего отчёт. — А земля, стало быть, теперь ничья. А ничья земля, сами знаете, к кому идёт. К тому, кто при ней стоит.

И мужики, глядя в землю, молчали. Они уже поняли то, что Парфёшка понял давно и что теперь, в это серое утро, сделалось ясным всем: деревня сгорела не сама. И сгорела она в один час, а гореть ей теперь — всем вместе и порознь — долго, может, до конца жизни.

А как сошёл снег, Парфёшка нанял мужиков с лопатами — тех самых, что осенью выносили из огня, что успели, — и

велел сравнивать пожарище. Свезли головешки в овраг, утоптали глину, разровняли, где были дворы. А на том месте, где стояли избы, приказал он по осени посадить липы, в два ряда, как в господском саду. Мужики сажали молча: иные крестились, иные плевались через левое плечо, но сажали — потому как платил Парфёшка щедро, а щедрость, она и на пепелище дорого стоит. Так и вышло, что через два года на том месте, где люди жили, рожали, помирали, шумел молодой липняк, а старики, проходя мимо, снимали шапки — уже не по деревне, а по тому, чего на этом месте не стало и о чём вслух не говорили.

Мёртвых отпевали без батюшки: то, что осталось от старухи Дарьи и братьев Голубковых, собрали на другой день и закопали на погосте, под обгоревшей колокольной. Стояли над могилой молча — слёзы у всех вышли ещё в ту ночь. И никто не спросил вслух «за что»: в Заболотье и без того все знали ответ. Знали — и молчали.

А утром, когда над Сиверкой стлался серый дым и мокрый пепел лежал на воде, как снег, выяснилось, что деревни Заболотье больше нет. Нет ни на земле, ни — очень скоро — на бумаге. Её вычеркнули из планов, из межевых книг и из памяти, как вычёркивают из счётов безнадёжный долг. Будто и не стояла она двадцать дворов у излучины.

Будто и не было её никогда.

К рассвету на том берегу, куда не достал огонь, собрались те, кто выбежал. Стояли на мокрой траве, в чём были — бо-

тые, в накинутых наспех зипунах, — и смотрели через реку на то, что ещё вчера было их деревней, а нынче стало чёрным, дымящимся бугром. Никто не кричал, никто не плакал в голос: плакать в голос на пепелище — всё равно что звать мёртвых, а их и без того было не докликаться. Только бабы потихоньку, в кулак, и старики, отвернувшись. Так и просто-яли до солнца, как простаивают последнюю ночь в родительском доме, зная, что утром — в дорогу. А когда солнце встало и высветило пожарище, все разом увидели то, о чём не говорили вслух: деревни больше не было. И у каждого что-то оборвалось внутри — то, что уже никогда не прирастёт.

Имя её старались не поминать. Не то чтобы запрещали — просто, как выяснилось, боялись: у кого язык повернётся выговорить вслух то, чего больше нет, а было? В Спасском, на базаре, заезжий торговец, бывало, спрашивал дорогу «на Заболотье» — и мужики разом замолкали, отводили глаза, будто спросил он не дорогу, а про покойника, которого все хоронили и никто не оплакал. Слово это сделалось в округе как нечистое: произнесёшь — жди беды. Так и вышло, что деревню вычеркнули не только из планов и книг, но и из людской речи. А то, что не выговаривается вслух, — то, известно, скорее всего и забудется. Первыми замолчали взрослые. За ними — дети. А там и внукам уж нечего было помнить: им и не рассказывали.

Прошло двадцать лет.

Глава первая. В которой старик приносит негатив, а фотограф проявляет место, которого нет

Вересов ещё накануне понял, что это дело не даст ему спать спокойно, — по тому, как заколотилось сердце, когда старик, пришедший под вечер в ателье, поставил на стол картонный футляр и сказал своим глухим, окающим, с присвистом голосом: «на снимке том, барин, место, которого на свете нет».

Вересов, приглядевшись, разглядел старика как следует. Был он высок, сух, с лицом, дочерна обожжённым солнцем и ветром, — такие лица бывают у людей, которые двадцать лет ночуют под открытым небом, а умываются из придорожных ручьёв. Дорожная сермяга на нём выгорела до той рыжей белизны, какой не даёт никакая краска, — только время и пыль. Руки, лежавшие на коленях, были тёмные, узловатые, как корни, и Вересов, привыкший читать по рукам, как по лицам, сразу понял: человек этот работал всю жизнь, а теперь устал так, что и рукам не отдохнуть. И только глаза, выцветшие до бледной голубизны, глядели живо и цепко — как глядят у людей, которые слишком долго ждали и наконец дождались.

Сердце у Вересова вообще-то было вышколенное — за столько лет тёмной комнаты и чужих бед оно колотилось только по делу, — но тут оно сбилось с шага, как приказчик, застигнутый хозяином у открытой кассы. Потому что Вересов давно заметил за жизнью одну странность: она никогда не присылает заказов просто так. Если к фотографу приходит человек с негативом, на котором место, которого нет, — значит, место это есть.

Все его дела начинались именно так — не с улики и не с покойника, а с одного короткого слова, которое человек выговаривает, сам себе не веря: «не может быть». Лишней фигуры на портрете не могло быть — а была. Покойника из гроба не могло быть — а был. Чужого лица на пластине не могло быть — а было. И вот теперь — деревня, которой не может не быть, но которой, если верить бумагам, нет. Вересов давно заметил: мир устроен так, что каждое «не может быть» рано или поздно оборачивается стеклом, которое кто-то приносит ему в ателье. И в этом, пожалуй, и заключалась вся его, Вересова, странная служба: принимать невозможное и проявлять его до тех пор, пока оно не сделается доказанным. И кто-то очень старается, чтобы его не было.

Утро того дня вышло обыкновенным, как и положено утру перед большой бедой, — жарким, пыльным, ленивым. Макарь с самого утра гонял мух в павильоне и ворчал, что «такой жары и в бане не бывает», а Вересов, в одной жилетке, разбирал вчерашние отпечатки и думал о том, что хорошо

бы до осени ничего больше не случилось. Так уж устроена жизнь: именно в такие минуты она и случается.

Славы у Вересова за последние полгода прибавилось — после трёх дел, прогремевших на весь Петербург, — и он относился к ней, как к свету в тёмной комнате: вроде и нужен, а передержишь — испортишь. Заказчики теперь шли к нему валом, и всё больше — с просьбами, каких не выскажешь вслух: снять «как живой», проявить «то, что было, а теперь нет», вернуть на стекло «то, чего не стало». Вересов терпел, отшучивался, снимал, а в глубине души ждал. Ждал того особенного звонка, который за три дела научился узнавать безошибочно.

И вечером колокольчик звякнул именно так.

Было около восьми, в павильоне догорал закат, и Макар, снимавший чехлы с камер, ещё напевал что-то про девицу и калину, когда в дверь постучали — не колокольчиком, а кулаком, глухо и терпеливо, как стучат люди, привыкшие ждать под дождём. Вересов отложил отпечаток, который разглядывал, и, ещё не дойдя до двери, уже знал: этот стук — не заказ.

Футляр, который поставил на стол старик, был из тех вещей, что дольше всего переживают своих хозяев: плоский, выцветший, перевязанный истлевшей тесьмой, с бумажной наклейкой, на которой бледными, полустёртыми чернилами было выведено одно только слово — «Сиверка». Вересов, прежде чем открыть, долго вертел его в руках, разглядывая,

как разглядывают письмо, у которого нет ни адреса, ни подписи. Потом бережно, как берут сонного младенца, развязал тесьму и вынул пластину.

Негатив был тяжёлый, чуть побуревший по краям, и пах от него — Вересов невольно поднёс его к лицу — пахло от него не пылью, а дымом. Тем самым, въевшимся, многолетним, который не выветривается из вещей, побывавших в пожаре. Двадцать лет, а запах остался, как будто стекло всё это время помнило не только свет, но и огонь.

— Ну, Макар, — сказал Вересов, поднимаясь, — неси-ка проявитель посвежее. Нынче мы с тобой будем проявлять не лицо, не дом и не гроб. Нынче мы будем проявлять целое место. А это, брат, — он уже шёл к тёмной комнате, — это, я тебе доложу, дело долгое. И, чую, — неблагоприятное.

Макар, зевая и крестясь, ушёл в тёмную комнату и принялся готовить проявитель — по заведённому раз навсегда порядку: сперва вымыть ванночку, потом отмерить, потом поставить под руку пинцет и кюветы. В красном свете он всегда делался сосредоточен и молчалив, как причетник перед службой, и ворчал только для порядка. Вересов, заглянув через плечо, увидел, что всё стоит на местах, и кивнул: за три дела Макар выучился химии не хуже иного аптекаря, а главное — выучился ждать. Ждать в этом ремесле, думал Вересов, едва ли не главнее, чем проявлять. Кто не умеет ждать — тот и не увидит, как из чёрного стекла выходит лицо.

Тёмная комната была его кабинетом, исповедальней и

храмом разом: сюда Вересов не пускал ни заказчиков, ни Макаровых знакомых, ни даже собственную усталость. В красном свете фонаря время текло иначе, и всякий раз, разводя проявитель, он ловил себя на том же, на чём ловил себя и в первый год, — на затаённом, детском ожидании чуда. Чудо, впрочем, было всегда одно и то же: из чёрного стекла выплывало лицо. Только в этот вечер вместо лица должно было выплыть целое место. И Вересов, сам того не желая, медлил — как медлит человек перед дверью, за которой знает больше, чем хочет.

Теперь, ночью, в красном свете фонаря, он стоял над ванночкой, а Макар топтался у него за плечом и дышал в затылок, как запалённый. Старик — его Вересов усадил в приёмной, велел Лизе, забежавшей днём с очередным гимназическим поручением, напоить гостя чаем и ни о чём не спрашивать, — старик ждал снаружи, и это ожидание само по себе было нехорошим знаком: люди, которые приносят обыкновенные снимки, не ждут их с таким каменным терпением.

— Ну, барин? — не выдержал Макар. — Проявляется?

— Проявляется, — отозвался Вересов, не поднимая головы. — Всё у нас с тобой, Макар, проявляется. Беда в другом: никогда заранее не знаешь, что именно.

На стекле, в мутной воде проявителя, медленно, как первая тень на стене, проступало изображение. Вересов увидел его раньше, чем оно стало ясным, — фотографии видят снимок не глазами, а чем-то другим, что срабатывает за мгнове-

ние до того, как серебро окончательно вспомнит свет. И это «что-то» шепнуло ему: то, что ты сейчас увидишь, ты уже однажды видел. Только не здесь.

Деревня. Обыкновенная северная деревня: два десятка изб, вытянувшихся вдоль реки, как неровные зубы. На взгорке — деревянная церковь о пяти главах, тёмная, приземистая, с той небрежной, но крепкой красотой, какую умеют ставить только плотники, знающие, что храм простоит дольше всех, кто в него ходит. У воды — мельница, приземистая, с большим колесом, и плотина, уходящая наискось. А река — река делала у деревни мягкую, ленивую излучину, огибая взгорок, как рука обнимает плечо.

Всё это было снято с одного возвышения, с дороги, должно быть, — с той точки, откуда деревня выглядела не хуже иного пейзажа. Снято умело и в то же время простодушно, как снимают для волости, для отчёта, для памяти: без затей, зато всё на месте — и церковь, и мельница, и излучина, и длинная тень от колокольни, упавшая поперёк улицы.

— Барин, — шёпотом сказал Макар, заглядывая через его плечо, — а ведь красиво-то как. Прямо как у нас в деревне было. До того, как я сюда подался. — Он шмыгнул носом. — У нас тоже церковь на взгорке стояла. Только наша победней была.

Вересов ничего не ответил. Он смотрел на проступающую деревню и думал о том, что вот уже четвёртый раз в его жизнь входит чужое несчастье, и входит, как всегда, через

стекло. Первый раз это была лишняя фигура на семейном портрете. Второй — пустой гроб. Третий — лицо, которого не должно было быть на пластине. А теперь — целое место, которого, если верить старику, не должно быть на свете. И Вересов, человек не суеверный, всё же поймал себя на мысли, что у этих четырёх заказов есть что-то общее, какая-то своя, пока не проявленная, закономерность. Словно сама светопись, раз уж он взял её в помощницы, решила вести его по всем тайнам этого города — и не собиралась останавливаться.

— Ну-ка, Макар, — тихо сказал Вересов, — подай пинцет. И не дыши мне в стекло, а то надышишь нам с тобой такое место, какого и впрямь нет.

Чем дальше он вглядывался, тем больше подробностей выплывало из мутной воды, как выплывают из памяти лица, которых давно не видел. У крайней избы — колодец с журавлём, задравшим длинную шею, как птица, которую спугнули. У самой воды — гуси, сбившиеся в белую кучу, и бо-соногая баба, застывшая с коромыслом на полдороге: фотография застала её врасплох, и теперь она двадцать лет стоит с двумя вёдрами и глядит прямо в камеру, не моргая. А на взгорке, у церковной ограды, сидели, свесив ноги, двое ребят-тишек — и Вересов, вглядевшись, различил, что они близнецы, до того одинаковые, что снимавший, должно быть, и сам потом не мог сказать, где который.

Странное это было чувство: видеть живых людей, которых

давно нет. Вересов снимал много мёртвых и много живых, но вот так, чтобы целая деревня смотрела на него со стекла и ждала чего-то, — такого с ним ещё не бывало.

Он вынул пластину из ванночки, ополоснул, закрепил, и они вдвоём склонились над ней, едва не касаясь лбами. Негатив был старый, мокрый коллодий — Вересов определил это сразу, ещё на ощупь, по краю, по весу, по той особенной, чуть неровной патине, какую даёт только время. Лет двадцать, не меньше. А может, и все двадцать пять.

— Деревня, — выдохнул Макар. — Барин, да это ж просто деревня! А я уж думал... — Он осёкся и покосился на Вересова. — А чего ж он тогда говорил, что её нет?

— А вот это, — сказал Вересов, откладывая пинцет и впервые за весь вечер поднимая на Макара глаза, — вот это, брат, и есть самое интересное. Потому что деревня на пластине — есть. А вот есть ли она где-нибудь ещё, кроме этой пластины, — это нам с тобой и предстоит узнать.

Он вышел в приёмную. Старик сидел у стола, не притронувшись к чаю, и смотрел перед собой тем неподвижным взглядом, каким смотрят люди, привыкшие ждать годами. Лиза, притулившаяся на краешке стула, при виде Вересова подскочила.

— Ну что там, Сергей Ильич? — выпалила она. — Есть место-то?

— Есть, — сказал Вересов, садясь напротив старика. — На стекле — есть. Деревня у реки, церковь, мельница. Снято

с дороги, лет двадцать назад. А теперь, — он посмотрел на старика, — теперь рассказывайте, Ефим Савельевич. Только по порядку. И не пропускайте, пожалуйста, того, что вам самому рассказывать не хочется. Потому как именно с этого места в таких делах всё и начинается.

Старик долго молчал. Потом медленно, двумя уцелевшими пальцами левой руки — там, где полагалось быть ещё двум, остались лишь гладкие, застарелые шрамы, — старик погладил край стола, будто разглаживая что-то невидимое.

Вересов, прежде чем сесть, сходил в тёмную комнату и вынес бумажный отпечаток, ещё влажный, пахнувший закрепителем. Он молча положил его перед стариком.

Ефим долго смотрел на него, и Вересов видел, как медленно, точно просыпаясь, меняется его лицо: сперва на нём было одно лишь напряжённое ожидание, потом — недоверие, будто он боялся, что снимок обманет, и наконец — то тихое, смиренное удивление, какое бывает у человека, когда он узнаёт в чужом лице давно умершую родню. Старик провёл ладонью по лицу, потом мелко перекрестился и, не поднимая глаз, сказал:

— Она самая, барин. Вот она. Стоит. — И голос его сорвался на этом слове, как срывается нитка, когда до конца осталось всего ничего.

Вересов не торопил его. Он сидел и смотрел, как старик, сгорбившись над отпечатком, что-то беззвучно шепчет, и думал о том, что вот уже четвёртый раз за последний год перед

ним сидит человек, у которого украли не деньги и не вещи, а то, без чего человеку жить нельзя: один — лицо, другой — покой, третий — имя. А этот вот — потерял целую деревню. И странное дело: все они, разные, непохожие, говорили одно и то же. «Верните». Не «накажите», не «отомстите» — а «верните». Потому как человеку, у которого отняли, не нужна месть. Ему нужно, чтобы отнятое снова стало его. Хотя бы на стекле. Хотя бы на бумаге. Хотя бы — в памяти людей, которые будут это помнить.

— Деревня эта, барин, — сказал он наконец, — Заболотьем звалась. На Сиверке стояла. Двадцать дворов, церковь, мельница господская. Я в ней родился. И я, почитай, один от неё и остался. Потому как в ночь на Иванов день, в шестьдесят третьем, она сгорела. Вся. Дотла.

Он помолчал.

— А через полгода, — продолжал он тем же глухим, ровным голосом, — через полгода вышло так, что её и не было вовсе. Ни в планах, ни в книгах, ни в памяти. Как не стояла. Землю-то, барин, межевали заново, и оказалось, что никакой деревни на том месте отродясь не было, а была пустошь. Пустошь при мельнице. И кому она отошла — сами понимаете.

— Понимаю, — кивнул Вересов. — Приказчику отошла, который при мельнице сидел.

Старик поднял на него глаза — выцветшие, но вдруг сделавшиеся цепкими, как у человека, который двадцать лет носил в себе чужую тайну и наконец нашёл того, кто с полусло-

ва понял.

— Верно, барин. Приказчику. Парфёшке. А нынче он, — старик выговорил это без выражения, как выговаривают приговор, — нынче он купец первой гильдии Парфён Евстигневич Крутойяров. И в Петербурге у него торговый дом. А на том месте, где Заболотье стояло, — усадьба его и мельница, только уж не та, господская, а своя, каменная, о два постава.

Вересов откинулся на спинку стула и посмотрел на старика долгим, изучающим взглядом.

— И вы, стало быть, — сказал он медленно, — вы, Ефим Савельевич, хотите, чтобы я нашёл то, чего, по всем бумагам, не существует. Так?

— Так, — сказал старик. — Только не «нашёл», барин. Я и сам знаю, где она стояла. Я её, почитай, с закрытыми глазами отыщу — и излучину, и взгорок, и омут под мельницей. Мне не место надобно. Мне надобно, чтоб оно снова стало — на бумаге. Чтоб люди узнали, что была такая деревня. И что сожгли её не сами собой. А сожгли, — он понизил голос, — сожгли её, барин, свои же. Тот, кто нынче в Петербурге в шелках ходит.

Он перевёл дух и добавил совсем тихо:

— И ещё, барин. В ту ночь там люди сгорели. Не все выбежали. И вот за них-то, за невыбежавших, мне и не спится. Двадцать лет не спится.

В приёмной сделалось тихо. За окном, в жаркой августовской ночи, звенел комар, и где-то далеко, на Загородном,

грохотала запоздавая пролётка. Макар, стоявший в дверях тёмной комнаты, шмыгнул носом.

— Ну что ж, — сказал Вересов, поднимаясь. — Стало быть, так. Дело у нас с вами, Ефим Савельевич, простое, как негатив: вы мне — правду, я вам — проявленное место. Начнём с того, что деревню эту я поищу в бумагах. А ежели в бумагах её нет, — он усмехнулся, — тем лучше. Значит, в бумагах она кончается, а начинается где-то в другом месте.

Он проводил старика до дверей, условившись, что тот придёт завтра к полудню, и вернулся в ателье, где Макар уже задувал лампу в тёмной комнате и ворчал себе под нос.

Прежде чем лечь, Вересов засветил лампу и завёл в тетради, что держал в столе под замком, новую страницу. Тетрадь эта была его давней, ещё с первого дела, привычкой: он записывал в неё не улики, а то, что нельзя было проявить, — слова, взгляды, паузы, чужие обмолвки. Сверху вывел печатными: «Заболотье. Сиверка. 1863». Потом, подумав, приписал внизу, как ставят подпись под снимком: «Места, которых нет, всегда есть. Их просто прячут». И закрыл тетрадь. Он ещё не знал, что эта запись, сделанная вполусне, окажется самой точной из всех, какие он сделает в этом деле.

— Вот ведь, барин, — бубнил он, — вляпались. Опять. Я уж который год с вами, и что ни дело — то деревня сгоревшая, то покойник оживший, то барышня с родинкой. И всё ведь, заметьте, с одного стекла начинается. Вот что оно такое, стекло-то это, а? Прямо не стекло, а какая-то... ну,

неприятность.

— Это, Макар, — сказал Вересов, запирая футляр с пластиной в шкаф, — это называется светопись. Она, брат, как зеркало в бане: не показывает того, чего хотят. Она показывает то, что есть. А что из этого выходит — про то уж не её вина.

— Барин, а как же она тогда показывает то, чего нет? — не выдержал Макар. — Деревню-то эту?

— А вот это, — ответил Вересов, — и есть самое любопытное свойство светописы: она и то, чего нет, показывает так, будто оно есть. Потому что на стекле всё есть, Макар. Даже то, что на земле сожгли. Сожгли, а оно всё равно проступает. Со стеклом, брат, всегда так: оно помнит свет, который видело. И не его вина, что свет этот иным поперёк горла.

— Барин, — не выдержал Макар, провожая взглядом запертую дверь, за которой только что растворился старик, — а чего ж он к Пузырёву не пошёл? Дело-то, по всему, полицейское: поджог, земля, убитые люди. А он — к нам, к фотографам.

— А потому, — сказал Вересов, — что Пузырёв, при всём моём к нему уважении, человек казённый. Ему нужен протокол, свидетель и, желательно, покойник — а уж потом правда. А старик этот двадцать лет боится не полиции, а того, что ему не поверят. Он, Макар, пришёл не к следователю и не к адвокату. Он пришёл к тому, кто умеет проявлять. Потому как у него в руках не жалоба. У него в руках — стекло. А

стеклу, брат, верят больше, чем людям.

Он помолчал и прибавил, глядя на запертый шкаф:

— А теперь слушай меня внимательно. Завтра с утра пойдёшь в межевой архив, на... впрочем, нет. Завтра с утра ты пойдёшь на биржу извозчиков и расспросишь — не возит ли кто, случаем, товар в торговый дом Крутояровых. А в архив я схожу сам. Потому как чует моё сердце, Макар, что место, которого нет на свете, очень даже есть — и у него, у места этого, имеется адрес.

Макар только вздохнул и перекрестился.

Впрочем, крестился он не со страху, а по привычке: за три дела он успел понять, что всякий раз, как в ателье приносят стекло, у барина загораются глаза, а у него, Макара, начинается бессонница. Он уже не спрашивал, чем кончится, — спрашивал только, скоро ли. И, глядя на запертый шкаф, куда лёг футляр с пластиной, тихонько прикидывал: ежели за прошлые дела на его веку случилось три покойника, то нынешнее, деревенское, пожалуй, потянет на все четыре.

— Ну, — пробормотал он, — поехали.

Макар долго не мог уснуть. Он лежал на лежанке, глядя в потолок, и пытался представить себе эту деревню — Заболотье, — которой никогда не видел и которой, по бумагам, не было. Двадцать дворов, церковь на взгорке, река с излучиной. Он и сам был из деревни, из-под Тихвина, и знал, что такое двадцать дворов: это когда каждая собака знает тебя по имени, а каждая старуха на завалинке — всё равно что

родная тётка. И ему вдруг сделалось до слёз жалко незнакомых людей, которых он видел только на стекле: бабу с коромыслом, ребятишек на церковной ограде, старосту, что приодевался перед камерой, как перед архиереем. «Вот ведь, — думал он, засыпая, — жили люди, парились в бане, солили огурцы, справляли свадьбы. А теперь про них и спросить-то некому — кроме как у стекла». И сон его от этих мыслей был беспокойный, будто и ему привиделось что-то горелое.

В ту ночь Вересов долго не ложился. Он сидел в приёмной при лампе, положив перед собой бумажный отпечаток, и разглядывал его сквозь лупу, как разглядывают письмо, писанное невидимыми чернилами. Изба за избой, церковь на взгорке, мельница у плотины — всё было на месте, всё дышало той особенной, спокойной правдой, какая бывает только на старых снимках, где никто не позирует, а все просто живут. И чем дольше Вересов смотрел, тем отчётливее понимал: эта деревня не просто «была». Она и теперь есть — в каждом бревне, в каждом лице, в той тени от колокольни, что легла поперёк улицы двадцать лет назад и так и не сдвинулась с места.

И ещё он подумал о старике, который нынче ночует бог знает где — на постоялом дворе, а то и на пристани, на скамейке, — и, может, тоже не спит, а сидит в темноте и прижимает к себе то, что осталось от деревни. Такие люди, знал Вересов, спят вполглаза, как сторожевые псы: у них за пазухой не добро, а память, а память, она, в отличие от добра, во

сне и сгореть может.

Макар, укладываясь на свою лежанку, долго ворочался, вздыхал и наконец подал голос из темноты:

— Барин, а как вы думаете — оно там страшное? Место-то это? Ежели его нет, а оно есть... вдруг там и впрямь покойники ходят?

— Спи, — сказал Вересов. — Покойники, Макар, по местам, которых нет, не ходят. По таким местам ходят живые. И вот они-то, — он пригасил лампу, — вот они-то бывают пострашнее иных покойников.

И, уже проваливаясь в сон, Вересов успел подумать то, о чём не сказал Макару: странная всё-таки штука — светопись. Тридцать лет он смотрел на мир через матовое стекло, и мир привык ему позировать. А теперь, выходит, само стекло принялось диктовать ему, куда идти и что искать. Сначала — лишняя фигура на портрете. Потом — гроб, из которого ушёл покойник. Потом — лицо, занятое чужой жизнью. А теперь — целая деревня, которой нет. И если так пойдёт дальше, то, может статься, однажды стекло покажет ему такое, чего он и сам смотреть не захочет. Но не пойти — уже нельзя. Потому как тот, кто раз взял в руки чужую тайну, — обратно её на полку не положит. Она уже в нём. И будет проявляться, пока не выйдет до конца.

Глава вторая. В которой Макар узнаёт, что места исчезают не сами, а городская карта врёт с достоинством

Утро принесло жару и новости, причём жара оказалась честнее.

Макар, уходя, обернулся на пороге и сказал с той значительностью, с какой говорят мальчишки, получившие настоящее поручение:

— Вы, барин, не сомневайтесь. Я на бирже всё разужнаю. У меня там, ежели помните, крестного знакомец. Извозчик дядя Прохор. Он про всякий торговый дом знает больше, чем ихний бухгалтер.

И был таков, а Вересов, глядя ему вслед, подумал, что в этом мальчишке, даром что из деревни, сидит прирождённый сыщик — только сыщик, который сыскную премудрость мешает с семечками и приметами.

С утра Макар, снаряжённый на биржу извозчиков, ушёл с таким выражением лица, с каким уходят в разведку, а Вересов, надев сюртук полегче и прихватив трость, отправился в межевой архив. Дорога его лежала в присутственное место,

где, по слухам, хранились планы всей губернии и где, по тем же слухам, за двадцать лет не высохло ни одно чернило и не отыскалось ни одно нужное дело.

В полутьме читального зала, куда Вересова в конце концов пустили, пыль висела в столбах света, как мука на мельнице, и пахла она не пылью даже, а временем — тем сухим, бумажным, чуть сладковатым запахом, какой бывает только там, где лежат дела, которых никто не открывал по двадцать лет. Вересов, чихая в платок, разворачивал связку за связкой, и в каждой второй папке обнаруживал то, чего уже не было: выписи о землях, давно перешедших в другие руки, тяжбы, умершие вместе с тяжущимися, планы, от которых уцелели одни рамки. Архив, думал он, — это кладбище, где хоронят не людей, а правду. И, как на всяком кладбище, тут всё зависит от того, кто придёт и попросит показать могилу.

Шёл Вересов не спеша, по теневой стороне, и по дороге, как всегда в такие дни, думал о картах. Карты он любил с детства, с тех самых пор, как отец, военный лекарь, привёз ему из похода потрёпанный атлас, в котором Вересов-мальчишка часами разглядывал изгибы рек и пятна городов. Уже тогда он заметил за картами одну странность: они всегда знают больше, чем показывают, и всегда показывают меньше, чем знают. И ещё он заметил другое: карты, как и люди, умеют молчать. А когда молчит карта — значит, молчать ей кто-то велел. За этим «кто-то» он теперь и шёл.

По пути Вересов, свернув на Гороховую, заглянул в лавку

знакомого гравёра, державшего карты и планы на продажу. Гравёр, сухой старичок в очках на шнурке, встретил его как старого заказчика и тотчас разложил на прилавке новенький, ещё пахнувший типографской краской план города.

— Полюбуйтесь, — сказал он. — Нынешней осенью печатали. Улица на месте, дом на месте. А вот, извольте, прошлогодний — сравните. — Он достал из-под прилавка другой план, пожелтевший, и наложил один на другой. Вересов наклонился и увидел то, о чём гравёр, собственно, и хотел сказать: целый переулок, бывший на старом плане, на новом исчез, будто его и не было. — Вот так-то, — кивнул гравёр. — Карта, сударь, она что память чиновника: помнит только то, что велено. Остальное — вычёркивает. И ведь никто не спросит: а где же переулок? Сгорел? Снесли? Или просто надоел кому? — Вересов вернул план и, прощаясь, подумал, что лучшего напутствия перед архивом и придумать было нельзя.

Всю дорогу Вересов в уме повторял название: Заболотье. За-бо-ло-тье. Имя, говорившее само за себя: деревня за болотом, у реки, в глуши, — имя, какое дают месту, чтобы его легче было найти, а не спрятать. И вот поди ж ты: именно такое, нарочно внятное имя и стёрли первым. Люди, заметил он, всегда так: прячут не то, что спрятать трудно, а то, о чём страшнее всего вспоминать.

Межевой архив встретил его прохладой, полумраком и запахом — тем особенным, канцелярским, пахнущим пылью,

сургучом и тихой безнадёжностью, какой пахнут все места, где бумаги живут дольше людей.

Народу в приёмной, впрочем, было немного: двое мужиков с бородами, пришедших, судя по всему, за выписями о земле, да старушка, дремавшая на скамье с узелком. Все они ждали своего часа с тем терпеливым, пришибленным видом, с каким в присутственных местах ждут всегда, — и Вересов, присев на краешек, невольно подумал, что вот эти люди пришли за бумагой о земле, которую пашут, а он — за бумагой о земле, которой нет. И неизвестно ещё, кому из них достанется ждать дольше. Вересов, знавший цену терпению, прождал в приёмной ровно столько, сколько нужно, чтобы его приняли за просителя скучного, а не за человека с вопросом, от которого у писарей портится аппетит.

Принял его писарь — сутулый, с лицом человека, который двадцать лет перекладывает одни и те же дела и давно уже не верит ни в одно из них. Звали его, как выяснилось, Евлампий Иванович Ремезов, и пил он, по собственному признанию, «только по праздникам, но так, что выходит каждый день праздник».

— Деревня Заболотье, — повторил он, почесав за ухом карандашом. — На Сиверке, говорите? Извольте, сударь, подождать-с.

Ждал Вересов долго. Ремезов сходил вглубь, погромел ключами, вынырнул, снова ушёл, и наконец вернулся, неся перед собой осторожно, как носят недопитую рюмку, боль-

шой истрепанный том.

— Вот-с, — сказал он, водружая том на конторку и сдувая с него пыль, от которой Вересов деликатно отступил на шаг. — Планы Новгородской губернии, уезд... хм, уезд по реке Сиверке. Извольте глядеть. — Он перевернул несколько плотных листов, исчерченных чернильными линиями, кружками и мелким, бисерным почерком. — Вот вам Сиверка. Вот излучина. Вот... — он вгляделся, повёл пальцем вдоль реки, нахмурился и полез в карман за очками, — вот, прости господи, ничего. Тут, сударь, ничего нет. Пустошь. Дача мельничная, нынче — господина Крутоярова. А деревни... деревни тут отродясь не значится.

— Отлично, — сказал Вересов, и Ремезов удивлённо поднял на него глаза: не часто просители радовались отсутствию того, о чём спрашивали. — А нельзя ли, любезный Евлампий Иванович, взглянуть на планы постарше? До шестьдесят третьего года. Там, глядишь, деревня и объявится.

Ремезов посмотрел на него долгим, понимающим взглядом человека, который за двадцать лет научился отличать просителя от сыщика.

— Старше, сударь, — сказал он тихо, — старше у нас, почитай, ничего и нет. Пожар был. В шестьдесят пятом, что ли. Сгорел старый архив межевой, со всеми планами. Что уцелело — то уцелело, а чего нет — того нет. И спросить, — он развёл руками, — спросить не с кого. Кто помнил, где какая деревня стояла, те либо вымерли, либо перебрались.

Память, сударь, она ведь тоже, как бумага, — горит хорошо. Вересов слушал и считал в уме. Деревня сгорела в шестьдесят третьем. Архив — в шестьдесят пятом. Целых два года кто-то, стало быть, заметал следы: сперва «пустошь» в межевых книгах, потом поддельный список погорельцев, потом, для верности, огонь, пущенный ровно по тем шкафам, где лежали старые съёмки. Два года — срок немалый. На такой срок не хватает ни испуга, ни злости: тут нужна была та особая, холодная, бухгалтерская терпеливость, с какой подводят итог, — черта за чертой, бумага за бумагой, пока в графе «деревня Заболотье» не останется прочерк. И Вересов подумал, что человек, умеющий так терпеливо вычёркивать, — куда опаснее человека, умеющего только поджигать.

— Вы вот, сударь, про пожар архивный спросили, — продолжал Ремезов, понизив голос и придвинувшись, — а я вам вот что скажу, только уж между нами. Пожар тот был больно уж кстати. В шестьдесят пятом, аккурат когда по губернии новое межевание кончали. Сгорело всё, что к старым планам относилось. И сгорело, как по заказу: ровно те шкафы, где уездные съёмки лежали, — те и занялись. А что в других шкафах стояло — то целехонько, хоть свечку подноси. — Он покосился по сторонам. — Я тогда ещё мальчишкой был, полы тут мыл. Помню, как господин архивариус, царствие ему небесное, бегал по двору в одной исподнице и кричал: «Горим! Деревни горят!» Все думали — бредит человек с перепугу. А он, выходит, в самый корень глядел. Деревни и

впрямь горели. Только не от огня. — Ремезов усмехнулся и полез в карман за табакеркой. — Вы, сударь, меня понимаете?

— Понимаю, — кивнул Вересов. — И даже больше, чем вы думаете. — Он помолчал, разглядывая Ремезова. — А скажите, Евлампий Иванович, вам тут, в архиве, фамилия Крутояровых знакома?

Ремезов поднял брови, и лицо его приняло то особенное, уклончивое выражение, какое появляется у канцелярских людей при упоминании денежных фамилий.

— Крутояровых? — переспросил он вполголоса. — Как не знать-с. Они у нас тут, почитай, каждый год бывают. То выпишь какую, то справку. Всё по мельничной своей да по земле. И всё, заметьте, в порядке у них, всё честь по чести. — Он усмехнулся в усы. — Уж больно, знаете ли, у них бумаги в порядке. Для человека, который мельницей живёт, — уж больно хорошо подшито. Я, признаться, сколько служу, таких аккуратных господ и не видывал. Иной дворянин себе и половины того не сыщет, что у купца Крутоярова в шкафу стоит. — Он придвинулся и заговорил почти шёпотом. — А уж как они ту землю выкупали, так это целая песня была. Три ходока, два нотариуса, и всё бегом, всё бегом, будто у них земля под ногами горела.

Вересов усмехнулся про себя: у людей, которые жгут землю, она, видно, и потом всю жизнь под ногами горит.

— Горит, — согласился Вересов, глядя на разложенный

план, где излучина Сиверки обнимала пустоту. — Только, знаете ли, у памяти есть одно досадное свойство, которого нет у бумаги. Её, сколько ни жги, всё равно что-нибудь да остаётся. — Он наклонился над планом и спросил небрежно: — А усадьба господина Крутоярова — она тут с какого времени значится?

— С шестьдесят четвёртого, — ответил Ремезов, не заглядывая в книгу. — Выстроена на пустоши, при мельнице. Мельницу-то он ещё раньше у казны в аренду взял, а после, как деревня... как пустошь то есть, отошла к мельнице, так и землю прирезал. Всё честь по чести. Бумаги в порядке.

— Ещё бы им быть не в порядке, — пробормотал Вересов. — У людей, которые двадцать лет назад деревню сожгли, бумаги всегда в порядке. Это у деревни бумаг нет.

Он поблагодарил писаря, сунул ему в руку, по давней привычке, ассигнацию — Ремезов принял её с достоинством, не глядя, — и условился, что тот «присмотрит, ежели что всплывёт». На прощание он спросил, будто между прочим:

— Ну, а мельница-то крутояровская, — спросил Вересов, как бы продолжая прежний разговор, — она у вас в бумагах давно числится?

Ремезов, прищурившись, снял очки и подышал на них.

— Мельница-то? — Он почесал переносицу. — Мельница старая, казённая была, на аренде у Крутоярова ещё с шестьдесят второго. А после, как пустошь к ней отошла, так он и землю прибрал. Выкуп сделал в шестьдесят четвёртом. Сра-

зу, одним махом, всю пустошь, сколько её было. — Он усмехнулся. — Вот ведь как бывает, сударь: в шестьдесят втором — арендатор мельничный, человек безвестный, а в шестьдесят четвёртом — уже землевладелец, и денег, поди, немеренно. И всё, заметьте, за один год. Видно, уродилось у него что-то на той мельнице. Золотом, поди, зерно молот.

«Золотом молот», — повторил про себя Вересов, выходя из архива в жаркий полдень. И подумал, что это, пожалуй, самое точное из всего, что он слышал о Крутойярове за эти дни. Мельница, которая мелет золото. Только золото это, сдаётся, было не в зерне, а в земле, которая вдруг стала «пустошью». И в людях, которые вдруг перестали существовать — сперва на бумаге, а потом, для всех остальных, и в жизни. Он постоял на крыльце, щурясь от солнца, и решил, что пора нанести визит ещё одному человеку — тому, кто, по словам писаря, сорок лет мерил эту самую землю и мог, быть может, вспомнить её настоящие границы.

— А скажите, Евлампий Иванович, кто у вас тут, в городе, из старых землемеров жил? Таких, чтоб в тех местах планы снимал ещё до пожара?

Ремезов задумался, почесал карандашом уже не за ухом, а в ухе.

— Есть один, — сказал он наконец. — Фома Лукич Поёмов. В отставке давно, живёт на Песках. Он, почитай, всю Сиверку вдоль и поперёк исходил, ещё при старом межевании. Глаз у него был — компас. Он вам, сударь, ежели не за-

пил и не закапризничал, любую излучину на память начертит. — Ремезов усмехнулся. — Только вы ему про деревни, которых нет, не говорите. Он таких слов не любит. Он, знаете ли, считает, что ежели он место межевал, так оно есть. Даже если его потом сожгли.

— А скажите ещё, — Вересов уже взялся за трость, но помедлил, — старых-то карт, до пожара, у вас, стало быть, вовсе не осталось? Ни одной?

Ремезов развёл руками.

— Остались, да не у нас. Есть, сударь, такие карты, что и огонь не берёт, — военно-топографические, что при государе Николае Павловиче генералы снимали. На них, извольте, каждая деревенька обозначена, каждая мельница крестиком стоит. Только хранятся они не у нас, а в военном ведомстве, под грифом. Туда, — он усмехнулся, — нашего брата писаря и на порог не пускают. А вам, человеку штатскому, и по-давно. — Он понизил голос. — Но вы попробуйте. Слухом земля полнится: у кого-нибудь да заваялась та карта в наследстве, от офицера какого-нибудь. У военных, знаете ли, всё в сундуках целее, чем в архивах.

— Вот и славно, — сказал Вересов. — Значит, мы с ним поладим.

Прощаясь, Ремезов вдруг снял очки, поглядел на Вересова близорукими, покрасневшими от пыли глазами и сказал тихо, без обычного своего ёрничества:

— Вы, сударь, только не сочтите за пустое любопытство.

Я за двадцать лет на этой должности научился одной вещи: в нашем деле бумаги не пропадают. Их либо прячут, либо жгут. А которые прячут — те когда-нибудь да найдутся. — Он понизил голос до шёпота. — Ежели что всплывёт про вашу Сиверку, я вам знать дам. Только вы уж и сами, сделайте милость, не пропадайте. А то ведь, знаете, как бывает: спрашивает человек про деревню, которой нет, — а потом и самого человека нет. — Он поправил очки и усмехнулся невесело. — Я, признаться, за эти годы трёх таких просителей проводил. И все трое потом как в воду канули.

Из архива Вересов, прежде чем вернуться в ателье, заглянул в публичную читальню — ту, что держал на Вознесенском отставной учитель, собиравший газеты за тридцать лет так бережно, как иные собирают фарфор. Учитель, ссутулившийся над подшивками, выслушал Вересова, пошуршал страницами и развёл руками:

— Июнь шестьдесят третьего, Новгородская губерния... Пожары в том году были, это точно. Леса горели, торф горел, и деревень, случалось, горело — не счесть. А вот чтоб про вашу деревню, про Заболотье, хоть строчка была — нет, сударь, не припомню. И не потому, что не писала газета. — Он наклонился ниже. — А потому, что не всякий пожар в газету попадает. Иной пожар, знаете ли, так и гасят — молчанием.

Вересов уже собрался уходить, когда учитель, помедлив, прибавил, понизив голос:

— Дознание-то, рассказывают, по тому пожару было. Ездил

становой, записывал, с людей спрашивал. А только дело то куда-то вскоре и подевалось. Закрыли за отсутствием, как водится, улик. Хотя какие уж тут улики, когда полдеревни в один час сгорело. — Он развёл руками. — Да вы, сударь, сами, поди, знаете: которое дознание в губернии быстрее всего кончается, то и заводить не стоило.

Вересов поблагодарил и вышел на улицу, где всё так же плавился август. «Так и гасят — молчанием», — повторил он про себя. Двадцать дворов сгорели в одну ночь, люди погибли, а ни одна газета губернии не обмолвилась ни словом. Это уже само по себе было похоже не на несчастный случай, а на приговор, вынесенный деревне задолго до пожара. И вынесенный, похоже, не только на словах.

В ателье он вернулся к полудню, когда солнце уже раскалило стеклянный скат павильона до того, что по нему потекли струйки света, как пот по лбу усталого человека. Макар был уже на месте — сидел на крыльце, грыз семечки и вид имел торжествующий и немного испуганный, как человек, принёсший домой кота.

— Ну, — сказал Вересов, — докладывай. Что на бирже?

— А на бирже, барин, — зашептал Макар, подскочив, — на бирже знаете что? Торговый дом Крутояровых — он вон он, на Садовой, и возит в него товар извозчик дядя Прохор, который, между прочим, моего крестного знает! И дядя Прохор говорит: дом богатейший, а только хозяина в нём не любят. Приказчики-то, говорит, люди хорошие, а сам Парфён

Евстигнеевич — «как лёд, и на солнце не тает». И ещё, барин, — Макар понизил голос до трагического шёпота, — ещё он говорит, что у Крутояровых по ночам окна в конторе горят до третьих петухов. Стало быть, не спит человек. А чего не спит — про то у дяди Прохора своих догадок нет, но он считает, что «совесть».

— И вот ещё что, барин, — Макар совсем понизил голос и оглянулся на дверь, будто его мог подслушать сам Крутояров, — дядя Прохор сказывал: у Крутояровых в лавке приказчики хозяина «как огня боятся». Никто при нём лишнего слова не скажет, а как он уходит — все разом крестятся. И ещё, — он придвинулся, — ещё он слышал, будто в конторе у них по ночам печку топят. Летом! В самую-то жару. — Макар сделал страшные глаза. — А чего летом печку топить? Дрова, что ли, переводить? Нет, барин, тут не дрова. Тут, чует моё сердце, бумаги жгут. Старые-престарые, которые, может, двадцать лет в ящике лежали.

Вересов, снимавший в это время сюртук, замер на полуслове.

— Печку, говоришь, топят? — переспросил он. — Летом?

— Летом! — подтвердил Макар с той торжествующей интонацией, с какой докладывают о чём-то совершенно несомненном. — Дядя Прохор сам видал: дым из трубы, и пахнет не самоваром, а горелым.

— И ещё, барин, — Макар сделал страшные глаза, — дядя Прохор сказывал: Крутояров-то старший в лавку свою при-

ходит редко, и всегда один, без сына. Встанет у двери, глянет — и уйдёт. Приказчики от него за конторки прячутся, как мыши от кота. И знаете, что самое чудное? Никогда он не улыбнётся. Никогда. За двадцать лет — ни разу. Так и ходит, как заколоченный. — Макар передёрнул плечами. — Я бы, барин, с таким человеком и в одном городе не жил. А вы, вон, к нему на поклон идти собрались.

— А я, Макар, — сказал Вересов, надевая сюртук, — я к таким людям не на поклон хожу. Я к ним, брат, хожу смотреть. Потому как человек, который двадцать лет не улыбается, — это, знаешь ли, не характер. Это улика. И она у него на лице написана крупнее всякой вывески. — Он поправил воротничок. — Ты вот боишься с таким человеком в одном городе жить. А я, представь, с ним в одном городе дело веду. И, сдаётся мне, — он усмехнулся, — он от этого улыбается ещё реже.

— Совесть — это хорошо, — сказал Вересов. — Совесть — это, брат, единственная вещь, которую нельзя застраховать и которой нельзя подделать. Правда, она же имеет досадное свойство просыпаться лет через двадцать. — Он снял сюртук, повесил его и прошёл к шкафу, где стоял футляр с пластиной. — Ну-ка, Макар, подай мне её. Да осторожно. Это теперь, брат, не просто стекло. Это, по всему выходит, единственный оставшийся в живых свидетель целой деревни.

Он вынул пластину и поднёс её к свету, льющемуся сквозь

стеклянную крышу. В дневном, резком свете деревня на негативе проступила ещё яснее, чем ночью, в красном фонаре: избы, церковь, мельница, излучина, и поперёк улицы — длинная тень от колокольни.

— Гляди, Макар, — сказал Вересов, водя пальцем над стеклом, не касаясь его. — Видишь тень? Она лежит поперёк улицы, наискось. Стало быть, снимали либо ранним утром, либо на закате, когда солнце низко. А теперь гляди на избы: крыши тесовые, свежие, не потемневшие. Новую деревню крыли к зиме — значит, снимали весной или летом. И вот ещё, — он указал на край пластины, где патина шла неровной, чуть изъеденной полосой, — видишь, как край обкусан временем? Так ест только мокрый коллодий. Сухую пластину время грызёт иначе. Так что снято это, брат, летом шестьдесят третьего, самое позднее — шестьдесят четвёртого. А теперь вопрос: ежели деревня, как утверждают все бумаги, «отродясь не значилась», то кто же это, скажи на милость, её снимал? И для кого?

— Для волости, — подсказал Макар. — Старик сказывал.

— Вот именно, — кивнул Вересов. — Для волости. А волость — это, брат, казённое место. И ежели деревню снимали для волости, значит, в волости она значилась. А ежели значилась — значит, были и бумаги. А ежели были бумаги — значит, кто-то их очень старательно сжёг. И не в шестьдесят третьем, когда горела деревня, а позже. Когда понадобилось, чтобы деревни не было вовсе. — Он бережно уложил

пластину в футляр и запер шкаф. — Так что, Макар, заруби себе на носу: места, которых нет, исчезают не сами. Их исчезают. Потихоньку, по бумажке. И вот к этому-то я и иду.

В этот миг колокольчик над дверью звякнул, и в ателье впорхнула Лиза Каптелева — в лёгком платье, с корзинкой, из которой торчали крыжовник и свежие газеты. Вид у неё был такой, какой бывает у гимназисток, дорвавшихся до настоящей тайны.

— Сергей Ильич! — выпалила она с порога. — Я всё утро думала! А вдруг это место — оно нарочно спрятано? Вдруг его кто-нибудь... того... закопал?

— Где же ты, Лизонька, место видала, чтобы его закапывали? — усмехнулся Вересов. — Место, голубушка, не закапывают. Его переписывают. На другую бумагу, под другим именем. А то и вовсе — в пустошь.

— Ну да! — обрадовалась Лиза, нимало не смутившись. — Я и говорю: спрятано! А вы его найдёте? Вы же всё находите! Вы же ту женщину с родинкой нашли, и покойника из гроба нашли, и... — она запнулась, подбирая, — и вообще!

— Найду, — пообещал Вересов. — Только ты, Лизонька, вот что мне пообещай: никому про это место ни слова. Особенно твоей матушке. А то она меня, чего доброго, со свету сживёт за то, что я её дочь в сыщицы записал. — Он взял из корзинки газету, развернул и пробежал глазами. — А теперь ступай домой. И крыжовник Макару не отдавай, он от него икает.

Лиза, рассмеявшись, убежала, а Макар, обиженно втянув живот, проводил её взглядом и пробурчал:

— И не икаю я вовсе. Это у меня, барин, от волнения. От таких-то дел кто хочешь заикает.

Вересов не ответил. Он стоял у окна, глядя на раскалённый Загородный, и думал о человеке, который живёт на Песках, чертит по памяти излучины и не любит слов «место, которого нет». О человеке, к которому ему теперь следовало поспешить — потому что чутьё, то самое, что не подводило его уже три дела подряд, шептало ему с утра: поспеши. Пока старик Позёмов ещё чертит свои излучины не под землёй, а на бумаге.

Он снял трость с крючка.

Идти к землемеру следовало не как сыщик, а как собрат по ремеслу. У стариков, думал Вересов, есть одна слабость: они охотно говорят с тем, кто понимает их дело. Землемер не станет откровенничать с полицейским чином и уж тем более с петербургским франтом, а вот с фотографом, который сам всю жизнь имеет дело с линиями, светом и точностью, — станет. Вересов это знал по себе: ему тоже легче всего говорилось с теми, кто хоть раз простоял в красной комнате над ванночкой. Ремесло, оно ведь как исповедь — у каждого своё, но язык у всех один. Он сунул в саквояж отпечаток и подумал, что снимок, пожалуй, скажет старику больше, чем все его, Вересова, слова. Стекло, которое побывало в руках мастера, всегда узнаётся.

— Пойду-ка я, Макар, на Пески, — сказал он. — Нанесу визит человеку, который, возможно, видел нашу деревню ещё до того, как она перестала существовать.

— А я? — вскинулся Макар.

— А ты, — Вересов на мгновение задумался, — а ты сходи в лавку к Завьялову, что на Гороховой. Отнеси ему мою записку. Пусть побережёт для меня серебряной бумаги и двух бутылок свежего коллодия. Съёмок у нас с тобой нынче будет много. И все, — он усмехнулся, — все до единой — на местах, которых, по бумагам, нет.

Макар, уже взявшийся было за картуз, остановился и уставился на него.

— Барин, а барин... а ведь ежели мы это место найдём — что тогда? Деревню-то, её ж не воскресишь. Землю не вернёшь. Чего ж тогда искать?

Вересов, уже на пороге, обернулся.

— А ты, Макар, представь себе, — сказал он, — что у тебя украли имя. И двадцать лет ты живёшь без имени, как пёс без хозяина. А потом находится человек, который говорит: «Я знаю, как тебя звали. И я докажу». И пусть имя тебе уже не вернёт ни избы, ни отца, — но всё-таки, брат, это совсем другая жизнь, когда знаешь, как тебя звали. — Он надел шляпу. — Вот и деревня эта. Её не воскресишь. Но можно вернуть ей имя. А это, Макар, в нашем деле, пожалуй, и есть самое главное.

Глава третья. В которой отставной землемер узнаёт излучину — и замолкает навсегда

Фома Лукич Позёмов жил на Песках, в деревянном доме с мезонином, крашенным в тот неопределённый цвет, какой бывает у домов, когда краска устала раньше хозяина. Вересов нашёл его не сразу: старик, как ему сказала словоохотливая соседка, «по утрам сидит в палисаднике, как сыч, а по вечерам чертит, и не дай бог кто помешает».

Палисадник, впрочем, оказался пуст, и Вересов, постучав в дверь и не дождавшись ответа, уже собрался уходить, когда дверь отворилась сама — вернее, отворил её человек, о существовании которого за дверью нельзя было догадаться: такой он был тихий.

Это был старик небольшого роста, сухой, как циркуль, в выцветшем сюртуке с бархатным воротником и в войлочных туфлях, которые делали его шаги совсем неслышными. Лицо у него было того особенного склада, какой бывает у людей, всю жизнь имевших дело с линиями: всё на нём — брови, морщины, складки у рта — шло как-то на удивление ровно и параллельно, и только глаза, выцветшие, но живые, глядели

с той цепкой, привычной к далям зоркостью, какая остаётся у землемеров до самой смерти.

— Вы ко мне? — спросил он, оглядывая Вересова с головы до ног. — Ежели насчёт межевания, так я в отставке. Ежели насчёт долгов — у меня нет. Ежели по душе, — он чуть усмехнулся, — то это к батюшке, через два дома.

— Я фотограф, — сказал Вересов. — Вересов. И я к вам, Фома Лукич, с вещью, которую, сдаётся мне, вы один во всём городе сможете опознать.

При слове «фотограф» старик заметно оживился, как оживляются старые охотники при слове «собака».

— Фотограф? — переспросил он. — Ну, ну. Это интересно. У меня, сударь мой, был когда-то знакомый светописец, который снимал местность не хуже, чем я её межевал. Только он, бедняга, всё на стекло глядел, а стекло ему, видать, и в голову ударило. — Он посторонился. — Входите, коли так. Только ноги вытрите. У меня в доме каждая пылинка на своём месте, как на плане.

— Это у вас от ремесла, — заметил Вересов, оглядываясь. — От землемерства?

— А как же, — охотно отозвался старик, поправляя край клеёнки, хотя тот и так лежал ровно. — Кто сорок лет землю меряет, у того глаз без порядка болит. Мне, сударь, ежели что криво висит — так и не усну, пока не выровняю. — Он усмехнулся. — Жена, покойница, бывало, нарочно картину набок повесит и смеётся: «Ну-ка, Фома Лукич, потерпи!» А

я и минуты не мог. Встану ночью, поправлю — и только тогда на бок. Так и жил — по линейке. И на земле, и дома. А оно вон как вышло, — прибавил он тише, — и по линейке не уберёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.